**ОБМАНЫ ЗРЕНИЯ**

С определённого времени Аркадий Меодушевский, мужчина до этого определённого времени вполне адекватный, здравомыслящий и даже преуспевающий, с тайной самодостаточной гордостью относивший себя к пресловутому среднему классу, стал явственно ощущать, что у него меняется зрение. Первоначально, когда изменения эти ещё не приняли столь катастрофического масштаба, они доставляли ему даже свое-  
образное удовольствие, сродни неожиданно открывшемуся таланту, некой забавной, редко встречающейся, но бесполезной способности, навроде сочинения стихов или пускания колец дыма во время курения, и ему и в голову не приходило заподозрить у себя какую-нибудь серьёзную болезнь или аномалию. Ну в самом деле, что такого тревожного или такого уж особенного могло быть в том, чтобы на тридцать каком-то году жизни заметить вдруг, что небо, например, может быть не только синим или голубым, а ещё и лазоревым, прозрачным и тонким, словно китайская фарфоровая чашка, а на море, по вечерам, даже и с зеленоватым отливом, словно море в себе отражая. Ничего удивительного не было и в том, чтобы уподобить горизонт лезвию, а багряный отсвет, оставшийся на нём после заката и ещё не до конца слизанный ночными купальщиками, специально для этого заплывшими так далеко, – стекающей по лезвию крови. Удивительное было в другом. Он вдруг заметил, что багрянец и пурпур – это не одно и то же и что перед восходом горизонт именно пурпурный, а после заката – багряный. Или, скажем, само солнце. В зависимости от времени года, времени суток и места наблюдения оно могло быть – апельсином, яблоком, гранатом… летом – головой верблюда, зимой – мордой рыси, а осенью, в деревне, в ясные и сухие дни – непременно тыквой. Этими своими наблюдениями и ещё некоторыми он как-то полушутя поделился с женой, но, видимо, в несчастливую минуту, потому что она приняла всё это за банальные приставания и одарила мужа таким утомлённо-уничижающим взглядом, словно он признался ей в своём слабоумии или в слабости более постыдной, или вдруг в одночасье превратился из солидного преуспевающего делового мужчины в какого-нибудь, стыдно сказать, писателя, потому что кому же ещё в голову может прийти такая ерунда. С этих пор отдаление между ними, наметившееся, впрочем, уже давно, стало необратимым и даже приобрело ускорение, а брак превратился в чистую условность, как та самая линия горизонта, до которой никак не могли доплыть ночные купальщики.

Некоторое время он таился, наслаждаясь в одиночестве своим недугом. Благо дела были налажены, шли в гору и, что называется, на автопилоте и требовали самого минимального участия, так что вполне можно было позволить себе разглядывать пунцовые осенние восходы и багряные закаты, ловить в деревенской паутине скупое октябрьское солнце, дышать грибными запахами подмосковного леса, рассматривая какой-нибудь листочек, или иголку, или жучка, прилипших к склизкой шляпке боровика или маслёнка. Бродить по топким болотцам, воображая себя тургеневским охотником, – хотя на кого здесь теперь охотиться – перекатывая во рту такое интересное и едва знакомое только по давнишнему школьному чтению слово «вальдшнеп», с трудом представляя, как он вообще выглядит, да и кто это, собственно говоря, такой.

Но в Подмосковье было всё-таки людно, и грибники встречались чаще, чем грибы, а уж о вальдшнепах и говорить не приходилось, и поэтому для подобных прогулок был присмотрен и за какие-то смешные деньги куплен настоящий деревенский дом, где-то в Рязанской области. Деревня была почти заброшена: пять-шесть старух, одинокий дед-лесовик, какой-то местный дурачок. Старухи были такие дряхлые, что не держали даже кур, и поэтому петухов по утрам не было слышно. Даже собачий лай был редкостью. Так, забрешет иногда под вечер чей-то старый Полкан, тоскливо и сипло. Но Аркадия всё это почему-то вполне устраивало. Здешнее запустение, заброшенность, прозябание, медленное и безмятежное умирание почему-то легли ему на душу и не казались мерзостью. «О, мёд души моей, я нашёл для нас прелестный уголок!» – хотел он даже отправить издевательское сообщение жене, зная, насколько её раздражает эта его блажь, но хмыкнул и передумал. И просто написал, где его, если что, искать, и, не дождавшись даже уведомления о доставке, отключил телефон.

Как потом оказалось – навсегда.

Так он прожил почти неделю – ходил, бродил, высматривал, даже подстрелил какого-то невезучего селезня. А потом затосковал, запечалился. Но даже и в печали ему было хорошо и светло. Одиноко, грустно и привольно. Неспешно. Дни казались бесконечными и бездонными, мысли освободились, душа успокоилась. А тут как раз наладили дожди, дороги размыло, небо заволокло, лес выстудило, и казалось, что кто-то смотрит оттуда, из-за серой холодной мглы, выискивая, где бы согреться. Но избы, из тех, что на краю деревни, с пустыми глазницами выломанных окон, завалившиеся, чёрные и промокшие, не обещали тепла, а наоборот, сами, отчаявшись дождаться его от людей, будто собирались податься в лес, сбившись в продрогшую и лохматую стаю.

И свой дом, единственный обитаемый на этом краю, показался ему ещё теплее, и уютнее, и милее в такие дни. Заняться было нечем,   
и они принялись изучать друг друга. От старых хозяев остались «обстановка», кое-какие запасы в погребе и даже «архив». Всё это было тщательнейшим образом изучено и учтено. В погребе были обнаружены: несколько банок солёных чёрных и белых груздей, бочонок квашеной капусты, кое-какие мясные и рыбные консервы, настолько, правда, древние, что Аркадий пока не решился их использовать, разнообразные домашние разносолы, варенья, компоты и огромная бутыль мутного самогона или браги с самодельной рукописной этикеткой из обычного тетрадного листа «в линейку», синие чернила на которой, конечно, давно были размыты и буквы плыли перед глазами, словно читавший уже обильно хлебнул содержимого и растворил их самим своим дыханием, так что из написанного едва можно было разобрать – и то очень приблизительно – слова «настояна на…в… году» и «Ерофеич». Самогон был продегустирован прямо здесь, в погребе – благо маленький гранёный стаканчик нашёлся тут же, рядом, на полочке, и даже жившая в нём, видимо уже давно, паучиха не смутила Аркадия. Получив от него имя Акулины, она без разговоров освободила тару, хотя и посмотрела напоследок слегка укоризненно. Самогон был признан годным к употреблению и с величайшим почётом, уважением и осторожностью поднят наверх. Грузди были признаны годными без дегустации, за одно своё благородное имя, и тоже подняты наверх. Капустка заинтересовала, конечно. Была она щедро пересыпана большими, темно-рубиновыми ягодами клюквы, но весь бочонок поднять было, разумеется, невозможно, да и не нужно, поэтому взята была только небольшая часть.

Устроив себе такую изысканную трапезу, вдоволь наслушавшись под «Ерофеича» барабанной дроби дождя о стёкла, нагрустившись о собственном прошлом, о собственном настоящем, о собственном будущем, не сулившем, видимо, уже ничего нового, повспоминав, повздыхав, посетовав безмолвно, поразмышляв о жизни *вообще*, Аркадий, чтобы немного отвлечься, принялся изучать «архив».

Например, в рассохшемся ящике стола, выстланном старинными советскими газетами – «известиями» и «правдами» – были найдены простые школьные тетрадки, пожелтевшие и заскорузлые от времени. В них вперемешку, безо всякого разбора, были записаны чьи-то адреса, рецепты солений, номера телефонов, заговоры – «от падучей», «от зубной немочи», «от лихоманки», «от пьянства», опять рецепты, снова адреса, травяные сборы, наблюдения за погодой – «на Троицу – дождь», «на Пасху – ясно», какие-то даты и имена – «тяте година 13 июня», «Шуре – година 22 января» (кстати, Шура – это она или он – поди теперь узнай), даже стихи «о природе», «о деревне» – были опознаны Тютчев, Фет, Некрасов – («Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет…»). Вдруг попалось на глаза что-то совсем необычное: после состава «от ломоты в суставах» на кореньях лопуха и опилках чаги следовал, так, мимоходом, какой-то странный текст, судя по всему приворот или заговор, озаглавленный «Приглашение Рыси»: *«Тётушка Рысь, приходи, тётушка Рысь, оборони, тётушка Рысь, вразуми, тётушка Рысь, покажи дорожку, а уж я тебе послужу немножко»*. А дальше снова как ни в чём не бывало: рецепт домашнего теста, «на Масленицу – зябко и снег», «Коке година – 17 июля». Только молитвы были переписаны в отдельную тетрадку. А на задней странице обложки, поверх таблицы умножения, опять это странное «Приглашение Рыси». Там же, в ящике, были обнаружены стопки открыток и писем, отрывные календари за много лет, какие-то полуистлевшие документы – свидетельства о рождении, о браке, о смерти. Грамоты. Но главная часть «архива» – фотографии – по простодушной деревенской традиции были развешаны по стенам, в рамочках, за стеклом, иногда по нескольку штук в одной рамке. Были здесь и свадебные и армейские фото, и старики, и дети, и внуки: девочки в бантах и с медвежонком, мальчики в бескозырках и тельняшечках. И, кажется, в одном из мальчиков он как будто бы узнал самого себя – во всяком случае, в детстве у него была такая же фотография – в бескозырке и тельняшечке. Вот они, эти же дети, но взрослее –   
уже в школьной форме и пионерских галстуках, а вот девчонки – уже невесты, а мальчишки – женихи или солдаты. Чужая жизнь хвалилась своим полнокровием, плодовитостью и будущим благополучием, но она была уже прожита и пережита и, конечно, совсем не так и совсем не с теми. Фотографии пожелтели и выцвели – то ли от времени, то ли потому, что их давно уже никто не пересматривал. Кто-то из них, из этих девочек и мальчиков на фото, в такой спешке продавал дом, что ничего из этого – ни фотографий, ни писем, ни открыток, ни тетрадок из стола – не хватился, не пожалел, не забрал. Просто забыл. Или не хотел ничего этого помнить. Слишком всего этого много и слишком давно это было.

«О, мёд души моей!» – вздохнул Аркадий, поднимая стакан «Ерофеича» и разглядывая на свет его мутные бездны, прежде чем залпом осушить. И сразу же, вдогонку, не разглядывая уже, выпил ещё один и пошёл на двор покурить.

В груди становилось жарко и хорошо, словно там внутри распускался какой-то редкий алый цветок, а в голове образовалась такая невесомость и лёгкость, что вместе с выдыхаемым сигаретным дымом можно было, кажется, выдохнуть наружу и самого себя, всего, без остатка. Немного подумав, Аркадий так и сделал и повис густым сизым облаком в неподвижной сырой темноте. Повисев так некоторое время, он хотел уже совсем раствориться, развеяться, но безветрие и влажность не позволяли этого сделать, и пришлось медленно плыть в холодном и тяжёлом октябрьской хмарью воздухе, огибая лунные дорожки, непонятные ночные шорохи, кислые запахи слежавшихся опилок и гнилой листвы, обволакивая колючие ветки шиповника, обглоданную дождями сирень, одинокую несговорчивую рябину, и снова, неосторожно ступая по размытой и скользкой тропинке в чёрную, чавкающую жижу, то стелиться понизу по мокрой траве, то подниматься, цепляясь за ветки кустарника, вверх.

«О, мёд души моей, моя Аркадия!» – думал Аркадий, озираясь кругом, хотя темнота была такая, что хоть глаз выколи, но лицо его всё равно расплывалось в благостной хмельной улыбке, будто он и правда видел вокруг себя ту самую мифическую Аркадию, страну беззаботной радости, невинности и детства, с тёплым и ласковым морем, зелёными холмами, тенистыми оливковыми рощами.

Тут он заметил, что слегка потерялся в пространстве и в такой темноте не совсем представляет, в какую сторону идти, чтобы вернуться к дому. Это скорее позабавило, чем испугало. Хотел ещё закурить, но сигареты все переломались и намокли. «Это… как там у них было, – по-  
думал он, весело, с вызовом, ухмыльнувшись, и закричал в темноту: –   
Матушка Рысь, приходи… это… оборони…а, дорожку, дорожку покажи! Матушка Ры-ы-ысь!»

Ага. «А, ещё, ещё вот вспомнил: дорожку, покажи дорожку, а уж я тебе послужу немножко!»

И действительно, как нарочно, вокруг стало как будто светлее: то ли луна вышла из-за облаков, то ли на другом краю деревни кто-то, разбуженный его криками, чертыхаясь, включил в доме свет и выглядывал в окно, то ли на востоке, над горизонтом, скрытым правда редким продрогшим лесом, приближающийся восход уже рассеивал мглу, окрашивая небо в спелый пурпур. Тропинка стала видна, и Аркадий, хмыкнув –   
ну надо же, – осторожно, стараясь уже больше не поскальзываться и не падать, хотя это у него плохо получалось, пошёл к дому. «Ерофеич», поди, заждался.

«Всё-таки она сама виновата», – подумал он вдруг и даже не сразу понял, что это он о жене, а когда понял, то стал гнать от себя эти мысли – хотелось обратно, в Аркадию, в страну беззаботной радости, невинности и детства. Но обида, как назло, словно квашня, пухла и лезла наружу, то ли из сердца, то ли из головы, то ли отовсюду сразу: «Не любила, не понимала никогда, изменяла... Сама, сама виновата, я так не хотел». И ведь, кажется, на целую неделю удалось о ней забыть, не думать обо всём этом кошмаре, так хорошо было! А тут – на тебе! Опять!.. Здесь, на свету, Аркадий наконец увидел, что в кровь изодрал о колючки ладони и, судя по всему, ещё и лицо, когда цепляясь за ветки шиповника пытался подняться с мокрой травы. «Этого ещё не хватало!» – подумал он с досадой. Кровь только разозлила. Обида лезла уже из ушей. Аркадия потонула в ней, как Атлантида. И снова, как заевшая пластинка, завертелось: «Сама виновата, сама, я так не хотел, сама, сама!»

– Конечно, не хотел, конечно, сама-а-а, – зевнул кто-то рядом.

– Ещё с этим козлом путаться начала, обобрать меня задумали!

– Алчная сука! – согласился кто-то.

– Как я сразу-то не разглядел!

– Обманы зрения, – спокойно объяснил кто-то. – Обычное дело.

– Довела, – не унимался Аркадий. – Я так-то мужик добрый. Сама виновата, сама!

– Конечно сама-а-а, – опять зевнул кто-то. – А у тебя тонкая душевная организация. А она – алчная сука. А ты различаешь голубой и лазоревый, багровый и пунцовый, пурпурный и сиреневый, зелёный и фисташковый. Ты, Аркаша, почти поэт. А она всем говорит, что импотент и извращенец. Хотя, знаешь, сказать по совести, это всё тоже – обманы зрения. Нет ничего этого – ни багрового, ни пунцового, ни зелёного, ни синего, ни жёлтого, ни даже красного – всё серое на самом деле. Так что всё ты правильно сделал.

– Я так не хотел. Она сама виновата.

– Да чего ты оправдываешься всю дорогу: хотел – не хотел! Ну, по-  
думаешь, попросил старого приятеля решить вопрос с опостылевшей женой, с которой без убытка для бизнеса не развестись, а сам, пока вопрос решается, спрятался в глуши, чтобы алиби себе обеспечить и психику не калечить. Ничего особенного. Сейчас все так делают.

– Да ничего похожего! Я не об этом его просил!

– Ой, да ладно. А то ты не знаешь, с кем дело имеешь! А то не он тебя крышевал когда-то! У него сколько ходок? За что сидел? Вот то-то же. Но ты, кстати, не переживай. Приятель твой наркоман со стажем, а ты ему вперёд заплатил. Так что, по всему выходит, кинет он тебя: купит на все твои деньги наркоты позабористей и отвалит. А про дело даже и думать забудет – что он дурак, что ли, чтобы на ровном месте самому себе срок рисовать, да ещё по такой тяжёлой статье? В общем, жива она, «мёд души твоей», сама виновата, а жива и ещё здоровее прежнего себя чувствует. Но попытка тебе, мон шер, всё равно – засчитана.

– Да ты кто такой?!

– А ты не видишь? – опять зевнул кто-то и посмотрел снисходительно и грустно.

Тут только Аркаша протёр глаза: перед ним сидела огромная, самая настоящая – рысь! От изумления и ужаса его прохватил такой озноб, такие судороги скрутили живот, что он, как давеча у шиповника, чуть было не выдохнул всего себя вонючим дымным облаком вместе со всей своей требухой и не растворился без остатка в предутреннем тумане. Но на самом деле ни толком вздохнуть, ни тем более выдохнуть у него не получалось. В тоскливой надежде, что, может быть, всё это очередной обман зрения или алкогольная галлюцинация – на чём там настоян этот «Ерофеич», – Аркаша, держась за живот и стараясь всё-таки *туда* не смотреть, спросил:

– Неужели в этих облезлых лесах ещё водятся рыси?

– Ну, как тебе сказать, – задумалась Рысь и тоже посмотрела куда-то в сторону. – Я же не совсем обычная рысь. Я – Рысь. Тотемное животное. Мне можно.

Аркаша всё-таки осмелился рассмотреть её, пока она отвела взгляд. Натуральная такая, большая рысь. Но откуда? Рысь словно услышала его и ответила, опять посмотрев на Аркашу снисходительно и грустно:

– Ну ты же сам меня приглашал, пьяный голосил тут на всю тайгу: матушка Рысь, тётушка Рысь – матушка мне, кстати, больше нравится, –   
приходи, оборони, покажи дорожку, послужу немножко. Ведь звал же? Звал. Я пришла? Пришла. От злой кручины оборонила? Оборонила. Дорожку показала? Показала. Вразумила? Хотя про «вразуми» ты забыл, но ведь вразумила же.

– И что теперь? – спросил Аркаша, чувствуя, что его снова прихватывает.

– Что теперь, что теперь, – вздохнула Рысь. – Заклинание древнее, просто так, за здорово живёшь, не объедешь. Да ты что, думаешь, мне самой, что ли, прям так уж приятно к вам сюда бегать? Да ни в жисть! В общем, придётся тебе послужить, как обещал.

– Чем послужить-то? – спросил Аркаша, смирившись. – Чего делать-то?

– Ну-у, был бы ты нормальный человек, и чашки молока с тебя хватило бы, хотя у вас тут и коровы-то никто не держит… Но поскольку ты теперь один из нас…

– В смысле – «один из вас»?

– В смысле, что ты уже третий час здесь на четвереньках вокруг дома ползаешь и считаешь это нормальным! Рожа у тебя вся исцарапана, гадишь ты прямо в штаны. И после этого ты хочешь сказать, что ты человек? Нет, ты не подумай, я не осуждаю – я как всякое психически здоровое животное – вне морали. Я просто констатирую очевидные факты. И потом, я же говорила, что твоя попытка, пусть и неудачная, но засчитана. Словом, Аркаша, нельзя тебе ещё к людям. Побудешь пока с нами.

– Надолго?

– Увидим. А насчёт того, что делать… – тут Рысь зажмурилась и, вытянувшись на траве совсем как домашняя кошка, промурлыкала: –   
Я вот думаю замуж за тебя сходить. Будешь мне говорить «о, мёд души моей», охотиться для меня, нору поглубже и попросторнее выроешь. Мне новая нора ох как нужна сейчас! И вообще, у нас там хорошо: свобода – никаких тебе банков, долгов, кредиторов, ипотек! Воздух, опять же, свежий, природа, всё натуральное, на работу ходить не надо! – морда её расплылась в блаженной улыбке, а лапы дотянулись до самого Аркашиного лица.

Тут только Аркаша поймал себя на мысли, что всё это время, разговаривая с ним, Рысь не открывала пасти, да и сам он тоже, похоже, давно уже в этом не нуждался – ворочать языком, произносить слова, выговаривать буквы – голоса – его и Рыси – просто звучали в головах, достаточно было только посмотреть друг другу в глаза. Никогда и ни с кем, даже с самыми близкими и любимыми, у него не было такого. Аркаша, правда, не помнил сейчас точно, были ли в его жизни такие люди, а если и были, то кто и когда, но сама возможность, общаться вот так, напрямую, без звука – изумила и заворожила его.

– Ну что, пошли? – сказала Рысь, устремив взгляд в сторону леса. – Покажу тебе ещё дорожку.

И Аркаша, втянув всей мордой предутренний холодный туман, ответил:

– Пошли.

И они пошли.

Рано утром Марья Даниловна и Устинья Егоровна – две самые продвинутые и наименее дряхлые местные старухи – отправились в неблизкий путь, на другой конец деревни. Они решили всё-таки свести знакомство с новым соседом, который дней десять как поселился в пустующем доме старой Якимихи. Сосед был, по всему, не бедный – приехал на большой машине, с прицепом, – но какой-то нелюдимый: то бродит целыми днями по окрестным лесам с ружьишком, как какой-нибудь Пришвин малахольный, то сидит дома как сыч, носа не кажет, глушит, как не в себя, самогон, что ещё от Якимихи остался. Потому что а что же ему ещё там делать? Хоть и не бедный, а антенну-тарелку на крыше не стал устанавливать, а значит, и телевизора, как не было у Якимихи, так и у него нет. А у Марьи Даниловны и Устиньи Егоровны –   
был. Их дети ещё не забыли. Сама Якимиха, после того как дети и внуки совсем перестали её навещать, года два уже как пропала. Пошла, старая, в лес и не вернулась. И хотя леса тут и не слишком густые – да если правду сказать – одно только название – леса, а на самом деле – редколесье, сплошные проплешины – всё равно – искали, искали, а не нашли. Хотя не особо и искали-то, конечно. Ну так, приехали из лесхоза егеря, человек пять или шесть, попили недельку Якимихиного самогона, покурили, походили по окрестностям день-другой да и вернулись ни с чем. М-да. Так, видно, и дотлевают её косточки где-нибудь под ёлочкой или сосной. Хотя деревенский дурачок Петя, который зачем-то увязался тогда за Якимихой, уверял, что нет, не дотлевают. Говорит, что видел тогда из-за старой сосны, как тётка Якимиха обернулась рысью и скрылась в чаще. За Якимихой и правда всю жизнь водилась слава то ли колдуньи, то ли ворожеи, но чтобы вот так, чтобы обернуться   
рысью – это навряд ли. Да и рысей в здешних лесах отродясь не видали. Ну могла она там, наверное, приворожить кого-нибудь или зуб заговорить… Но рысью…

– Брешет, дурак! – уверенно подытожила Марья Даниловна.

– Отчего же ему не брехать? На то он и дурак! – согласилась Устинья Егоровна.

Они уже подходили к дому Якимихи, когда что-то серьёзно их напугало. Сначала они даже не поняли, что именно, а только ноги не шли, языки будто отнялись, все русские слова в голове перепутались и забылись, превратившись в какую-то чепуху, а вокруг настала такая гробовая тишина, словно всякая божья тварь, по всей земле, затаила сейчас дыхание. Совсем рядом послышался какой-то унылый и протяжный скрип или треск.

– Же суи Шарли Эбдо, – простодушно сообщила Устинья Егоровна и с виноватым видом зажала нос.

– Какое ещё эбдо? Что ты мелешь, дура! Же суи Иван Голунов! – зашипела на неё Марья Даниловна, озираясь по сторонам и стараясь понять, кто и откуда за ними наблюдает. – Не бзди, старая! Прорвёмся! –   
Марья Даниловна была побойчее и покрепче и явно не собиралась сдаваться, а даже и дать отпор, если нужно.

В следующую минуту из высокой пожухлой травы, навстречу им вышли две огромные, просто каких-то ненормальных размеров, кошки, натуральные рыси, даже с кисточками в ушах, и, усевшись напротив, не очень даже и далеко, нагло на них уставились. Один был явно котом, и морда у него была такая свирепая и нахальная, да ещё вся и расцарапанная, что было понятно – Марья Даниловна и Устинья Егоровна помешали чему-то очень важному и он этим недоволен.

Бедные старушки, решив не связываться, тихонечко развернулись и побрели восвояси, совсем даже забыв, зачем они вообще сюда приходили.

– Ах, мон шер Жюстин, почему мы такие старые! – вздыхала Марья Даниловна.

– Селяви, мон ами, селяви, – отвечала Устинья Егоровна.

– Селяви-то селяви… а всё же обидно…

Аркаша и Рысь ещё немного проводили их равнодушными взглядами и скрылись в траве.